

В этом районе нужно было не ходить, а петлять, путая следы, как петляют лисы, унося свою шкуру от охотников. Район был окраиной города и назывался Шлакоблочный. В серых трехэтажных домах, сделанных из заводского шлака, жили простые русские люди: зеки, гении и рабочие мертвого завода, ставшего когда-то первопричиной всей здешней жизни. Завод умер, но люди остались жить. Самой судьбой им было предначертано — родиться в шлаке, жить в нем, засыпать им дырявые улицы, хранить его под сердцем и выплескивать в самые непредсказуемые минуты на тех, кто способен на улыбку. Мы с моим приятелем по прозвищу Лав знали об этом не понаслышке, по-звериному огибая охотничьи ловушки, приманки, в виде кажущихся безлюдными темных переулков. Острым чутьем не раз битых неформалов мы выбирали безопасные тропы.

Мы подвергали себя опасности не просто так. Мы шли, чтобы родить новые звуки, чтобы на пустырях с горами шлака проросла музыка жизни и люди бы радостно улыбнулись, обнажив остатки черных зубов. Ведь мы были музыкантами. А может, и просто шли к будущему инженеру, а тогда философствующему панку Зобу, — от нечего делать пиная кедами осенние листья... Уж и не помню.

До двери философа мы добрались живыми, но дома его не оказалось. В упор на нас смотрел мутный глазок, ехидно подмигивая, словно бы давая понять, что хозяин может находиться где угодно — отбиваться в подворотне от гопов, лежать на территории детского сада в луже собственной блевотины, штудировать Ницше на пустыре — только не дома.

— Че делать будем? — спросил длинноволосый Лав, похожий на тощего индейца, сутулясь от тяжести висевшего за спиной баяна.

Инструмент был казенный, училищный. Он был необходим для создания народного колорита в нашей музыке, а точнее в «гонах». Гон — это особый музыкальный жанр, возникший вследствие реакции юной крови (с примесью паленого спирта) на голую реальность.

— Не знаю, — хмуро ответил я, доставая помятую пачку «Примы».

Мы спустились на лестничную площадку у окна и закурили. В окошке виднелись покореженные песочницы-мухоморы, в которых вместо песка лежал шлак, но играющих детей я там никогда не видел. Дети в этом районе как-то сразу мутировали в малолетних преступников и, сидя на корточках в широких кепках-хулиганках, чем-то напоминали грибную поляну.

Зоб, хоть и называл себя панком, обладал исключительным эстетическим вкусом и гостеприимством. Посещение его однокомнатной квартиры было для меня всегда событием. Зоб приучил меня к хорошему крепкому чаю, который следовало пить без сахара, не спеша, из белых чайных чашек, в процессе сократического диалога. Тогда как питался он обычно серой лапшой (хранившейся в капроновом мешке из-под сахара в углу кухни), обжаренной с луком в большой закопченной сковороде. От него же я однажды унес увесистый том Достоевского и кассету с «Русским альбомом» раннего Гребенщикова.

— Зоб, где тебя носит?.. — задался я риторическим вопросом, пуская дым в холодную стену.

— Тады обратно пошли, — спокойно сказал индеец. Баян в твердом чехле стоял тут же, на бетоне, и молчал. Я позвенел оставшейся мелочью в кармане и сказал: — Не, так просто мы не уйдем. Предлагаю купить портвейна. Тут хватит.

Я выгреб мелочь. Лав хитро посмотрел на нее опытным индейским глазом, и на лице его засветилась детская улыбка. Он водрузил баян на хрупкие плечи, и мы отправились в магазин.

Чутье нас не подвело. Мы обогнули детский садик, прокрались по заросшему коноплей переулку, вышли на проезжую улицу (благо разумно спрятав волосы под рубахи) и, прикинувшись местными, развязно вошли в магазин. Прикинуться местными было непросто: на нас косились не только недавно отбывшие наказание граждане, но и густо покрашенные продавщицы — собственно, жены или сестры этих самых не улыбчивых граждан. Нас выдавало все (чего мы за собой не могли заметить): раскованная походка, глаза (читавшие Чехова и Мандельштама), плавные движения рук (привыкших к гитарным грифам), увесистый баян за плечами Лава... «Человеческое, слишком человеческое!» — словно бы говорили нам исподлобья любопытствующие взгляды. Они были по-своему правы. Это их территория жизни, и поэтому не фиг тут ходить с баянами и чеховскими глазами.

— Батон хлеба и бутылку портвейна, пожалуйста.

Толстая продавщица в грязном переднике смотрела на меня с явным недоверием. Я решил опустить слово «пожалуйста» и повторил просьбу:

— Мне хлеба и портвейна за шисят рублей.

— А ты мальчик или девочка? — с нездоровым любопытством спросила женщина, глядя мне прямо в глаза.

Пеструю феньку, вплетенную в волосы, так просто не спрячешь.

— Андрогин, — не выдержал я.

— Это имя, че ли, такое?

— Фамилия.

— Ааа, — протянула женщина, но без тени улыбки.

Взяв хлеб под мышку, я попросил Лава спрятать от греха бутылку портвейна в чехол. И теми же лисьими тропами мы благополучно вернулись в подъезд.

Баянный чехол, лежавший на бетонном полу, послужил нам походным столиком, на котором оптикой голодных зрачков были запечатлены: бутылка дешевого портвейна (с привкусом ранней смерти), объединенная с обеих сторон буханка недопеченного хлеба и выпотрошенная пачка «Примы». Попеременно мы прикладывались к зеленому стеклу бутылки, закуривая крепкий сироп табачной горечью и закусывая хлебом. Пили на голодный желудок и поэтому довольно скоро захмелели.

— Лав, сыграй что-нибудь старинное, — душевно обратился я к индейцу.

Лав снисходительно улыбнулся на реплику дилетанта. Он заканчивал «музуху», и поэтому все «старинное» у него имело своего автора и музыкальный жанр с завораживающими мой слух названиями — «чакона», «пассакалия», «сарабанда»...

— Эту, как ее, сарабанду сыграй, — с трудом вспомнил я название.

— Тебе какую — Генделя али Баха? — медленно и несколько иронично сказал Лав. Хотя по его блестящим глазам было видно, что он и сам не прочь помузицировать. Это более чем уже нехило колбасило от портвейна.

— Алибаха, — усмехнулся я и зажмурился, предвкушая космическую вязь барочного контрапункта (ну, тогда я таких слов, разумеется, не знал).

Лав аккуратно расчехлил баян, раздул шумные меха, но заиграл не сразу. Он всегда готовился, перед тем как обнаружить стороннему слуху музыкальные звуки, — прядал в воздухе тонкими пальцами, мимически изображал неведомые мне переживания, отмахивал длинные пряди, опутавшие инструмент, за спину. Но вот он блаженно прикрыл глаза и начал играть.

Исписанные нетрезвой рукой стены шевелились от божественных звуков и словно напоминали, что они могли бы быть не просто стенами (хранящими нелепые истории бытовых убийств), а фресками готических соборов или бесстрастным фоном для полотен фламандских мастеров. Подслеповатые окна, утыканные окурками, расцветали храмовыми витражами с библейскими сюжетами, а закопченная потолочная вьсь разверзалась небесным сонмом архангелов и херувимов... Конечно, выражать музыку в словах глупо. Но по ощущениям было именно так.

Незаметно приоткрылась дверь соседа нашего панка, и оттуда показалось недоброе лицо в пресловутой кепке-восьмигранке. Одновременно высунулась еще пара таких же лиц, играющих скулами, и с любопытством смотрела на нас.

— Э-то че тут за кон-церт? — раздался отчетливый голос соседа, с характерной шипящей интонацией змеи перед броском.

Баян словно бы чем-то поперхнулся и умолк.

— Да мы так, — робко ответил я, — Ромку ждем.

— А, Ромку, — теплея в голосе, сказал сосед. — Ромка нормальный пацан, только друзья у него пидоры.

Замечание было не в нашу пользу. Но мы, повидавшие на своем веку и не такие «неловкие ситуации», сохраняли спокойствие. А Лав даже осмелился закурить, хотя тонкие пальцы его, держащие сигарету, заметно дрожали.

— Че за напиток?

— Портвейн.

— Угости сигареткой.

— Пожалуйста.

Чутье мне подсказывало, что бить нас будут не сразу. Это был один из сценариев, когда жестокому и бессмысленному избиению предшествовал душевный разговор «за жизнь»: «чем занимаешься», «где учишься», «че за браслеты», «музыкант или нёфор». В последнем вопросе содержалась существенная для здоровья разница. Нёфор — значило клоун, пустой человек. А если удавалось «обосновать», что ты музыкант, то в холодных серых зрачках мелькал огонек уважения. И тогда встреча могла обернуться только разговором с пристрастием и пением «группы крови на рукаве», без срезанных тупым лезвием волос.

— Серый, зацени гармошку.

— Это баян, — скорбно заметил индеец.

— Какая на хер разница. Слышь, нёфор. Сбачай че-нить. «Мурку» знаешь?

— Не знаю.

— Музыкант, а «Мурки» не знаешь, — с укоризной сказал сосед. — Сыграй, че знаешь.

— «Сарабанду» Генделя знаю, — оживился индеец.

— Эт че за певец? Не слыхал.

— Это не певец, а композитор восемнадцатого века.

— Не, мне со словами надо. А то отмудохаяю.

Делать нечего. Лаву надо было играть «Сарабанду» Генделя «со словами». А то чуяло мое сердце — и впрямь отмудохают. Сердце начало тревожно биться. Я испуганно посмотрел на Лава и с изумлением обнаружил, что в нем нет и тени страха, а заметны лишь известные жесты приготовления к творческому ритуалу: шевеление пальцев, отмахивание до неприличия длинных волос, странная игра лицевых мускулов.

— Я чет не понял. Ты петь будешь? — наезжал сосед, и в это же время раздался голос индейца, сопровождаемый тяжеловесными аккордами ничего не позревавшего Генделя:

*ба-бы
уха-бы
га-ды
пара-ды
я-ду мне я-ду
туды-сюды с дудой и без дуды...*

Пацаны, сплоченные неведомым доселе переживанием, мрачно курили нашу «Приму» и дымили в готические своды подъезда, заполняемые космическими звуками и надтреснутым тенором Лава. Трудно было понять, о чем они могли думать в эти минуты. Только когда музыка утихла, по тем скудным словам, которые оставили пацаны — «благородно», «как в церкви», «я такое на похоронах братишки слышал», — стало ясно, что им в целом понравилось. Футуристический экспромт индейца под звуки величественной сарабанды как нельзя лучше откликнулся в израненных и обесцвеченных душах этих людей. Может, они почувствовали детство, которого у них не было, или красоту, которую не могли выразить словами...

История осталась в прошлом. Тракторный завод сровнялся с землей и порос горькой полынью, волосы нам остриг услужливый парикмахер, Зоб открыл магазин бытовой техники, а в центре Шлакоблочного района появился огромный красно-желтый гипермаркет. Жители района вставили новые зубы и научились улыбаться, а я разучился. Я без опаски ходил по тем местам, рыл землю в поисках шлака, принюхивался, вглядывался в лица — на меня смотрели как на юродивого, — покупал портвейн, пробовал, сплевывал, прикладывался ухом к тщательно покрашенной стене...

Напрасно — глухо, музыки нигде не было.

